

# Максим Подобедов

*Подобедов Максим Михайлович (1897–1993). Организатор литературного движения в Черноземье. Первый редактор журнала «Подъём». Печатается с начала 1920-х годов. Делегат I Съезда советских писателей (1934).*

## БАБУШКА

**В** деревне Пресново есть заезжий колхозный двор. Состоит он из обыкновенной избы с сениями и плетневого сарая с камышовым навесом, под который заводят лошадей.

Обслуживает двор колхозница Гавриловна, одинокая пожилая женщина с круглым добродушным лицом, на котором резко выделяются крупный, слегка вздернутый нос и густые светлые брови.

Избу и двор Гавриловна содержит в образцовой чистоте, с проезжими приветлива и бывает довольна, если их много: колхозу прибыль и ей веселее. Она тогда становится суетливой, из избы ходит быстрой молодой походкой, все делая для того, чтобы проезжим было уютно. А самовар не сходит со стола, гостеприимно повсистывая. Только вот штука: зимой каждый вечер на дворе полно лошадей, а в избе — народу, летом же ночлежники — редкие гости...

Июльский день подходит к концу. Солнце нависло над лесом. От небольшого тополька, стоящего поодаль от избы, через всю улицу упала длинная тень. Гавриловна сидит на крыльчке, вяжет чулок и посматривает на дорогу. Заезжий двор — на краю деревни, впереди только две избы на одной стороне и школа да кузня — на другой. А дальше — ветряк, за которым начинается степь.

Безлюдно в степи, на дороге ни души. Грустно Гавриловне: опять ночевать одной. Коротка летняя ночь, да в одиночестве покажется она длиннее осенней.

На деревне тихо, лишь из кузницы доносится веселый звон молотка: дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.

Посматривая на дорогу и ожидая ночлежников, Гавриловна думает о сыне. Он на фронте, четвертый месяц от него нет писем. Жив ли? Старуха тоскует. Если бы она жила в семье — все легче было бы, а то одна... Как уговаривала: «Женись!» — вспоминает Гавриловна.

Сын ее, Прокоп, последнее время работал комбайнером, готовился ехать учиться на инженера. Ему было уже около тридцати лет, но он не спешил с женитьбой.

Показываясь под коромыслом, с Иртыша идет кума Фадеевна, соседка и ровесница. Поравнявшись с крыльцом, остановилась.

— Вяжешь, кума?

— Вяжу.

В ведерках была не вода, а рыба.

— Откель рыба? — спросила Гавриловна.

— Внук на покосе наловил. Привез на лодке, а сам обратно. — Фадеевна подошла к крыльцу. — Возьми рыбы-то.

— Спасибо.

— Бери, бери.

Гавриловна взяла трех крупных карасей и одну щуку.

— Хватит... куда мне ее... Чай, одна я.

Кума ушла домой, и Гавриловне стало еще грустней:

«Внук рыбы наловил. У меня тоже мог внук быть. Работал бы на покосе, приносил бы рыбы, ежевики, смородины».

Вдалеке на дороге показалась черная точка. Пешеход. А вдруг Прокоп? Может ведь так быть — лежал в госпитале, а потом отпустили домой на поправку... А может, ночлежника бог посылает. Пойти самоварчик поставить.

Когда, поставив самовар, вернулась на крыльцо, увидела, что пешеходов двое. Войдя в деревню, они повернули к кузне... Вышел кузнец, седой, в черном фартуке, и что-то стал говорить им, показывая молотком в сторону заезжего двора.

Ночлежниками оказались парнишки лет по двенадцати. Босые ноги их были серыми от пыли. Загорелые лица утомлены. Один из них — черный кудрявый мальчик с бойкими карими глазами, в коротких штанах, в коричневой рубашке, подпоясанной узким ремнем; другой — курносый, с большими серыми глазами, остриженный догола, в черной рубашке.

Гавриловна любила ночлежников общительных, словоохотливых, от которых можно услышать о городах, о жизни людей, о войне. Теперь она была немного разочарована. Что могут рассказать ребятишки? Но в то же время ей было жалко их.

— Сейчас самоварчик поспеет, — ласково сказала она, — чайку попьете. Ступайте пока на Иртыш, искупайтесь. Да поосторожней, места тут глубокие. Плавать-то умеете?

— Умеем! — солидно ответил чернявый.

Ребята купались недолго и вернулись освежеванными, с отмытыми ногами. Самовар уже кипел на столе. Чернявый спросил:

— Бабушка, где у вас правление колхоза?

— А за угол, через два двора... Изба с зелеными окнами.

— Давайте кувшин... пойду молока попрошу и хлеба.

— Зачем? Я дам... и хлеба, и молока. Председатель, поди, на покосе.

Мальчик сказал, что бабушка не обязана всех кормить и что он еще кого-нибудь найдет, если нет председателя. Сероглазый подсел к самовару, вынул из кармана два больших сухаря.

— Спрячь, — сказал чернявый. — Сейчас хлеба принесу. Сухари нам еще пригодятся.

Мальчик ушел. Товарищ его остался у самовара. Он был худощавый, тонкошей. Пухлые губы обветрились, и он то и дело облизывал их.

Гавриловна отрезала ломоть хлеба, налила в кружку молока, заварила чай.

— А ты пей, — сказала она. — Небось проголодался.

— Вместе тогда, — сказал мальчик. — Вот придет он.

«Не хочет без товарища», — одобрительно подумала Гавриловна. Мальчик, видать, был скромный, он нравился ей, хотелось поговорить с ним.

— Тебя как звать? — спросила она.

— Гриша.

— А другого?

— Петя.

— Издалека ж вы будете?

— Издалека.

Неопределенный ответ навел ее на мысль, что мальчику с дороги не до разговоров. И она молча возилась в избе. Поправила одеяла на кроватях, протерла окна, подлила воды в блюдечки с мушиной отравой, подмела пол. И все посматривала на Гришу, и ей приятно было, что в избе кроме нее есть еще человек.

Скоро вернулся Петя с хлебом и корчажкой молока.

Ребята с жадностью принялись есть. Гавриловна под села к столу и наливала им чай, забеливая его молоком, заставила отложить хлеб, полученный в колхозе, и есть ее хлеб, который она уже нарезала для Гриши. «Колхозный останется им, в дорогу, — думала она. — Не везде председатели добрые, в ином колхозе, гляди, не дадут».

В избе было хорошо, по-домашнему уютно. На кроватях, застланных серыми байковыми одеялами, белели взбитые подушки, пол желтел, как натертый воском, на чистых выбеленных стенах — портреты вождей, домашние фотографии. Где-то за печкой трещал сверчок. Мальчики ели молча, всецело отдавшись отдыху. Они наклонялись над столом и шумно прихлебывали чай из блюдечек. Лбы и носы их покрывались мелкими каплями пота.

Гавриловне все хотелось узнать, откуда и куда они идут. И она опросила:

— Дальние будете?

Гриша шмыгнул носом и ответил:

— Из России.

Петя шумно хлебнул из блюда и, прожевав хлеб, поправил:

— Не из России, а с Украины.

Гавриловна смотрела на ребят и сокрушенно вздыхала:

«Ох, детки мои... Это же далеко отсюда».

Насытившись, ребята повеселели, разговорились. Петя рассказал, что отсюда до города, где он жил, более трех тысяч километров. Степи здешние ему не нравились, потому что тут ни оврагов, ни леса, ни садов.

Гриша рассказал, как фашисты бомбили его город. Каждый день они прилетали в одиннадцать утра. Радио объявляло тревогу, выли сирены. Потом начинали грохотать зенитки, поднимался гул от взрывов бомб. Весь город содрогался. Лопались стекла и со звоном вылетали на тротуары. Возникали пожары. Дым стлался по улицам. Пахло гарью и пылью. И вот женщин, детей и стариков стали вывозить из города. Гриша с матерью и бабушкой попал в поезд. Сколько раз над их поездом вились самолеты с черными крестами! В дороге он сдружился с Петей — их вагоны оказались рядом. Однажды на стоянке они побежали к станции купить молока. И когда были на пристанционном базаре, прилетел фашист. Сперва стрелял по поезду из пулемета, потом забросал его бомбами. И скрылся. Стало тихо. Ребята вернулись к поезду, но своих вагонов и матерей не нашли...

Гриша рассказывал с подробностями. Видимо, он заново переживал этот страшный день своей маленькой жизни... Лицо его покраснелось, глаза блстели. Гавриловна крестилась, ругала самыми последними словами гитлеровцев. Ей было страшно и в то же время хотелось, чтобы Гриша продолжал свой рассказ.

— Что там было — жутко, бабушка! — сказал мальчик и умолк, зажмурив на мгновение глаза.

— Убили матерей ваших, проклятущие, — трясущимися губами произнесла Гавриловна и заплакала. — И бабушку твою убили?

Грише стало жалко старуху.

— Не плачь, бабушка! — уговаривал он. — Не плачь.

Он поднялся с табуретки и подошел к Гавриловне вплотную, виновато глядя на нее своими большими серыми глазами. Петя тоже стал успокаивать ее.

— Всех жалко, всех, — сказала Гавриловна, вытирая бледными большими ладонями лицо и глаза. — Всем жить хочется. Ведь она, жизнь-то, у нас как славно наладилась было. И откудова его, Гитлера этого, нанесло на нашу голову, каким бураном надуло!

Она вытерла глаза, убрала посуду со стола и вышла во двор. Солнце уже скрылось. Над лесом стояли два пылающих облака, одно большое, другое маленькое, и Гавриловне показались они похожими на огненных всадников.

Пришла корова. Гавриловна стала загонять ее под навес.

Между тем ребята вышли на крыльцо и о чем-то оживленно заспорили. Гавриловна не могла разобрать всех слов, но отчетливо слышала горячий взволнованный голос Гриши и уравновешенный твердый — Пети.

— Бабушка! — крикнул Гриша. — Сомы в Иртыше водятся?

— Нету, внучек, — ответила она.

— Ага! — воскликнул Петя. — Ты со мной не спорь. Откуда тут быть сомам? В Днепре — да... Это другое дело.

Подоив корову, Гавриловна вынесла ребятам по кружке парного молока и села рядом с ними.

— Тут у нас щуки, окуни, язи, налимы, — сказала она. — И стерлядь есть.

— На удочку ловятся? — спросил Гриша.

— Ловятся. Рыбы в Иртыше много. И ловят ее всяко: и сетями, и удочками, и неретами.

На лугу за рекой запели грустную песню девушки, которые оставались ночевать на сенокосе. Они пели, кажется, о том, как Ланцов из замка убежал. Песню эту певали и тогда, когда Гавриловна была молодая. Возле правления слышался людской гомон.

Кругом все родное, привычное, каким было и год, и пять лет назад, кругом — спокойствие, мир. А у Гавриловны не шел из головы рассказ Гриши. Где-то далеко, за тысячи верст отсюда, кипит война, рушатся города, льется человеческая кровь. Откуда взялась война? Чем мы помешали немцам? Почему они так жаждут нашей крови?

Гриша и Петя, зачарованные красотой летнего вечера, деревенской тишиной, притихли. Может быть, они вспоминали длинный, трудный путь, что пришлось им проделать от охваченной битвами и пожарами Украины до тихих степей Казахстана, или свою беззаботную жизнь до войны.

— Отцы-то ваши на фронте, поди? — спросила Гавриловна.

— Конечно! — подтвердил Петя с таким выражением, точно иначе и быть не могло.

— Живы, нет ли — не знаете?

— Неизвестно, — грустно сказал Гриша.

— Куда же вы теперь?

— В Иртышский район... Там у меня дядя директором совхоза, — пояснил Петя. — А Гриша со мной.

— Далеконько... верст никак полтораста. А у тебя, Гриша, родные есть где-нибудь?

— Кроме папы, теперь никого...

— Пташка ты моя, — жалостливо, нараспев сказала Гавриловна. — Ну, ты не горюй... Есть добрые люди на свете.

— Я ничего, — сказал Гриша.

Иногда все трое замолчали. Гавриловна теперь думала о Прокопе. Хорошо бы посылку ему послать, да как пошлешь? Может быть, он куда переехал и у него теперь новый адрес. И будет блуждать посылка, пока не истреплется или не потеряется. То ей думалось, что он ранен и находится где-нибудь в госпитале. Надо бы написать ему письмо хоть по старому адресу. Но Гавриловна малограмотна, с трудом читает, а письмо ей не написать и за неделю. И попросить некого. Учительницы выехали в город на курсы, а деревенские грамотеи все в работе с утра до вечера... Был бы внук — он написал бы... Либо попросить парнишек? Только не сегодня... Устали они.

— Давайте-ка спать, — сказала она. — Где вам постелить, в избе или наружи?

Ребята не пожелали лечь в избе, и Гавриловна постелила им под навесом на телеге, у которой были сняты колеса. Мальчишки легли и вскоре зачихли.

И опять сидела старуха на крыльце, прислушиваясь к гомону на деревне, к ночным звукам и шорохам. Окна в избах замигали желтыми огнями. Люди ужинали. Чья-то девочка гонялась по улице за белой телушкой. «Т-тпрусень-домой!» — кричала она звонким голосом.

Над степью взошла огромная красная луна, и Гавриловне показалось, что самые яркие звезды потускнели, стали мельче и незаметнее.

За ветряком свистела перепелка. Свистнет раза три-четыре и замолчит. Тогда за Иртышом, как бы отвечая ей, начнет дергач... Тррра-тррра, тррра-тррра!

Подошла Фадеевна, села рядом.

— Писем от Прокопа нету?

— Нету.

— А мой прислал. Пишет, на переднюю линию пошел.

— Страшно, поди, на передней-то... Танки, пулеметы, еропланы.

— И не говори, кума! Да куда денешься? Воевать-то надо.

— Надо, надо, кумушка! Он, окаянный фашист, чего задумал — всю Россию стереть. И ты смотри, лютует как... ни большим, ни малым пощады нет... Вот у меня ребятишки ночуют... Поезд с ероплана немец разбил... Сиротами дети остались.

Женщины долго сидели, говорили о том, кто как живет, сочувствовали тем, у кого все мужчины ушли на фронт. Что ни говори, а без мужиков трудно. Радовались за тех, кто получил недавно хорошие известия от мужей, жалели — кому давно нет писем. Силились представить размеры бедствий, причиненных войной, и проклинали Гитлера беспощадными женскими проклятиями.

— А что, кума, — вдруг спросила Фадеевна, — если бы нам с тобой в руки попался Гитлер...

— Мы бы ему придумали казнь! — ответила Гавриловна, и глуховатый мягкий голос ее налился ненавистью. — Мы бы с ним расправились.

Луна поднялась. Она теперь была уже небольшой и ярко-серебряной. Воздух становился все прохладней. Гавриловна встрепенулась.

— Заболталась я с тобой. Застынут мои внуки. Одежки легонькие.

Она взяла в избе тулуп и пошла под навес. Фадеевна последовала за ней.

— Погляжу, что у тебя тут за внуки.

Ребята спали спина к спине, свернувшись калачиками, тихо дыша.

— Худы, — прошептала Фадеевна. — Намучились.

Гавриловна накрыла их тулупом. Гриша проснулся было, привстал, удивленно посмотрел на женщин и опять лег.

Некоторое время женщины молча стояли возле телеги. Сердца их сжимались от жалости к детям, рано познавшим такую беду, от которой и взрослые в одиночку седеют.

Потом Гавриловна перекрестила ребят.

Когда отошли от телеги, Фадеевна, словно бы продолжая давнишний разговор, угрюмо сказала:

— Да нет же... не одолеть ему наших.

Гавриловна проводила куму до улицы. Посреди остановились.

— Я что, кума, надумала-то, — сказала Гавриловна. — Один почти совсем безродный... Отец на фронте... Оставлю-ка его... и будет он вроде внука мне.

— Что ж, кума, хорошее дело... Если что — и колхоз тебе поможет.

— Чего мне помогать. Хлеб, корова есть. Мы с ним э-эвон как заживем. Мальчонка, кума, славный, скромный... а рассказывать начнет — заслушаешься.

...В избе до рассвета горела лампа. Гавриловна не могла спать. Она поставила хлеб, выпотрошила рыбу, начистила самовар до блеска. Потом открыла сундук и долго копалась в своих пожитках, прикидывая, из чего бы пошить Грише штаны, рубаху. И всю ночь, что-то шепча, бродила по избе, вздыхала. Изредка выходила во двор посмотреть, не раскрылись ли ребята. Поправит тулуп, постоит немного; и вернется в избу.

А когда рассвело, проводила корову в стадо и стала готовить ребятам завтрак.

Гриша и Петя поднялись часов в восемь. На столе стояли стопа горячих лепешек, сковорода с жареной рыбой, издававшей приятный запах. Самовар пыхтел, как паровоз.

— Кушайте, пахи мои, кушайте, — угощала Гавриловна. Хотелось сказать Грише о своем желании оставить его у себя, но не знала, как и с чего начать этот разговор.

И уже когда ребята засобирались в путь, она ласковым, просящим голосом сказала:

— Гриша... остался бы ты. Куда ты пойдешь?

Мальчик недоумевающе посмотрел на нее своими большими серыми глазами. Он не понимал, о чем она говорит.

— Как остаться?

— Насовсем... будешь мне внуком. Я одна, и ты один. У тебя отец на фронте, у меня сын... Вот вроде мы и родня. А вернется отец с войны — поедешь к нему... или он к нам придет.

В разговор вмешался Петя.

— Нет, бабушка, Грише нельзя оставаться у вас. Ему зимой учиться надо, а тут и школы, наверно, нет.

— Что ты, милый, как же можно без школы! Школа тут хорошая, большая... Из других деревень ребятешек привозят... Ну, как же, Гришенька?

Гриша покраснел:

— А Петя... одному идти?

— Дойду и один, — серьезно и сердито сказал Петя. — Оставайся, если хочешь... дело твое.

— Оставайтесь вдвоем... мне еще лучше, — сказала Гавриловна.

— Нет, я пойду к дяде, — решительно заявил Петя.

Гриша, видимо, колебался. Ему трудно было покинуть земляка — товарища и друга. Он чувствовал, что Петя не хочет, чтобы он оставался. И старуха ему понравилась, не хотелось ее обижать.

— Может, останешься все же, Гриша? — спросила Гавриловна.

— Пойду, — сказал мальчик.

— Как желаешь. Не неволю. А к тому, что один ты... Идите себе с богом. Вот вам на дорожку. Идти далеко, есть у вас нечего. Дай, думаю, лепешек испеку. — И Гавриловна дала Пете узелок.

Пришла Фадеевна и тоже узелок принесла с хлебом и жареной рыбой. Мальчики поблагодарили, попрощались. Гавриловна поцеловала их обоих:

— Счастливым путь, родные!

Женщины вышли на улицу и долго смотрели вслед уходившим мальчикам. Несколько раз ребята оглядывались. Петя шел быстрее, Гриша немного отставал.

Утро было ясное, теплое. Из-за Иртыша в степь летели грачи. Над деревней парил коршун. Лениво, раза два взмахнет крыльями, распластается и плывет, кружит.

— Не остался, — грустно сказала Гавриловна. — Идти далеко... дойдет ли? Петя покрепче. Вишь, как шпарит, а Гриша все впритруску.

Фадеевна задумчиво молвила:

— Дойдет... Может, машина попадет, подвезет их. А что не остался — ничего не поделаешь... Ты не горюй, если хочешь, мальчик еще найдется...

— Больно он приглянулся мне. И жалко его. Петька бойкий, этот и без дядьки прожил бы. А Гриша смиренный такой... Трудно ему будет у чужих.

— Теперь у нас чужих нет, кума, везде свои... призрят... — Коршун, сложив крылья, камнем ринулся вниз и тотчас же, поднявшись над крышами, стал набирать высоту, тяжело взмахивая широкими черными крыльями. В когтях у него что-то чернело: не то цыпленок, не то курица.

— Ах, окаянный! — воскликнула Фадеевна, — Смотри, смотри... поволок. Фашист, пра слово, фашист.

— Прокоп мой сейчас бы подстрелил его, — сказала Гавриловна.

Мальчиков уже не видно было, они скрылись за поворотом.

Придя домой, Гавриловна села за стол и начала писать сыну письмо. «Милый и родной сынок!» — вывела она крупными буквами и задумалась. В открытое окно слышно было пение петухов, чириканье воробьев, кучей сидевших на плетне, доносился веселый звон из кузницы: дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь. Проехал по улице председатель верхом на буланом жеребце.

Гавриловна смотрела в окно, и ей стало так грустно, так одиноко. Что-то теплое перехватывало горло, на глаза навертывались слезы. Как написать письмо? Надо ли писать, что она тоскует по нем, ночами не спит, что ей очень одиноко? Нет, об этом, пожалуй, не надо... Расстроится, заскучает тоже, а там сильно скучать нельзя. Вот о том, что она хотела взять мальчика, — можно... Это он одобрит. Хорошо бы написать, что утром она видела коршуна и вспомнила, как когда-то Прокоп стрелял по коршунам влет. И приписать: бей, мол, фашистов так, как ты бил стервятников, мсти им за горе и слезы людские. Надо написать, что идет покос, что созревает уже пшеница, что все от мала до велика работают, что недавно она виделась с директором МТС и тот вспоминал Прокопа и обещался письмо ему написать, что корова нынче отелилась в мае и теленка Гавриловна отдала в колхоз.

Ох, как много надо написать! Письмо представлялось ей длинным-длинным. Разве она напишет? У ней и слов не хватит. И она положила бумагу и ручку за зеркало. Придется все-таки попросить кого-нибудь. Пойти к колхозному счетоводу?

Вышла на улицу и долго смотрела в ту сторону, куда ушли мальчики.

— Не вернулся, — прошептала она. — Сирота... пошли ему, господи, жизнь хорошую и людей добрых.

Перекрестилась и направилась в правление колхоза.

*Ющенко Валентин Тимофеевич (1913–1986). Прозаик, публицист. Публикуется с середины 1930-х годов. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР с 1958 года.*

## ДОБРОТНОЕ ВИНО

*Другу Борису Малюченко*

Как только наши части вступили в Бендеры, командование поручило политруку Зыкову принять винные погреба местного богача-винодела. Из всех напитков политрук любил только газированную воду. Может быть, поэтому он и спросил своих красноармейцев:

— А вы, товарищи Власов и Белкин, понимаете в этом искусстве что-нибудь?

— Как сказать... — замялся Белкин. — Если в гражданских условиях, то водочкой можно побаловаться, а вино — это для девичьего веселья.

Власов только усмехнулся.

Втроем они прошли мост, переброшенный через голубую гладь Днестра. Еще вчера румынские жандармы расстреливали здесь рабочих, сегодня наши танки прогрохотали тяжелым маршем через этот старинный мост. Днестр по-прежнему несет свои быстрые воды, играя на солнце серебристой волной... По берегу раскинулись приземистые домики, развороченные плетни спустились к самой реке и были похожи на разорванные рыбацьи сети, брошенные у берега.

Зыков всматривался в лица прохожих... Вспоминались прежние российские окраины, — лохмотья, обреченность... Стариной веяло от вывесок, от мусорных ящиков, от забытых, затерявшихся в памяти слов — «помещик», «жандарм», «боярин».

Винные погреба боярина Туктыны находились на окраине. Двор обнесен высоким дощатым забором. У самых ворот — небольшая лавка.

Ворота, к удивлению Зыкова, были открыты. Неподалеку стояли небольшие дрожки, около них валялись дуга, хомут, разбитые чемоданы. Видно, хозяин спешил унести свою голову побыстрее...

Еще издали Зыков услышал звуки скрипки. Он переглянулся с красноармейцами, и все трое остановились, прислушиваясь.

У самого порога каменного подвала, поджав под себя ноги, сидел старик. Его всклокоченные волосы падали на скрипку. Играя, он закрывал глаза.

— Почему такая тоска, папаша? — подошел к старику Зыков. — Почему такие грустные песни играешь?

— Спроси у скрипки, спроси у стариковского сердца... — по-русски ответил музыкант.

— Ты кто будешь?

— Боярский холоп Данила. Боярин сбежал, а мне приказал подвалы сторожить.

— Ты и сторожишь?

— А как же? Кому, как не мне, сторожить подвалы? — Зыков подал старику руку, помог ему подняться.

— Я жду вас уже около часа, — блеснул глазами старик, — слушок прошел, что вы конфисковали конфетную фабрику, были в банке... а про вино-то и забыли. А какое веселье на празднике без вина?

Данила открыл тяжелую дверь:

— Заходите... Смотрите...



Зыков оставил Власова во дворе, пошел с Белкиным вслед за стариком. Из подвала тянуло сыростью и хмелем. Старик положил на крайнюю бочку скрипку, взял в руки керосиновый фонарик и повел гостей в глубину подвала, между двух рядов высоких бочек. Низкие своды давили своей тяжестью.

— Это — молодое вино... это — прошлогоднее, — объяснял Данила.

Черная тень от его косматой головы прыгала по серым стенам.

— Вам как — по описи сдавать, или вы сами все опишете?

— По описи, по описи, папаша... Ишь, сколько за двадцать два года твой боярин накопил!..

— Много, очень много...

Они прошли вторую, третью галерею. Данила поставил фонарик на бочку, отыскал припрятанную свечку, зажег ее. Зыков сначала не понял: они словно вошли в винный магазин, — обстановка никак не напоминала о подвале... По правой стене — мягкие диваны, круглый столик, даже небольшая книжная полочка примостилась в углу. Левую сторону заполняли узкие углубления в стене. Белкин хотел подойти поближе, чтобы рассмотреть их, но политрук остановил Белкина.

— Здесь самые дорогие, многолетние вина, — торжественно сказал старик. — Сюда хозяин водил своих гостей... Но он не знал, каких гостей я буду сегодня принимать. Садитесь... Я сейчас...

Старик засеменил в дальний угол, вытащил оттуда черную бутылку:

— Вот... Это от меня, от Данилы! — Зыков улыбнулся:

— Нам не нужно... Все это теперь — достояние трудящихся.

Старик словно не расслышал последних слов:

— Эта бутылка принадлежала мне. А теперь она принадлежит вам. Я сказал, что эту бутылку выпьет тот, кто первым войдет принимать хозяйство в свои крепкие руки...

Зыков колебался: что задумал старик? У него как-то странно поблескивают узенькие глаза. Он настойчиво сует бутылку.

— Товарищ командир... — говорит старик. — Это не шперц, нет, не взятка... Выпейте... Хотите, я вам еще сыграю на скрипке?

Зыков переглянулся с Белкиным. Черные тени трепетали по стенам, прыгали на полу. Догорала свечка. Фонарь остался далеко.

— Ишь ты, свеча догорает... — заметил Данила. — У меня есть вторая. Посидим, дети, не обижайте старика... Ну-ка, держи, открывай.

Он совал Зыкову бутылку и бокалы. Тусклый огонек свечи падал на бутылку, серебристые отблески света играли у самого горлышка. Зыков хотел отстранить старика, но тот взял его за плечо.

— Опустит руки! — не выдержал Белкин. — Это тебя хозяин, наверное, научил? Назад...

Старик отступил, расправил плечи:

— Товарищ командир не верит мне?

Зыков взял со стола штопор, начал его завинчивать в пробку.

— Осторожно! В бутылке две пробки... Давайте сюда первую.

Пробка подалась легко. На конце ее была навернута бумажка.

— Осторожно! Не порвите!.. — суетился Данила. — Читайте, дети... Я уже забыл первые строчки...

Зыков развернул сильно пожелтевшую бумажку. На ней были русские слова, написанные неровными крупными буквами:

*«Пройдет, может, несколько десятков лет, я умру и, не дай бог, не дождусь того дня, когда мою родную Бессарабию будут снова называть русской землей.»*

*Оторвали от сердца кусок с кровью. И если вы придете, сыны мои, то выльете это вино за старика Данилу. Оно припрятано в этот тяжелый для моего края год.*

*Данила Андроник, год 1918».*

Зыков еще раз перечитал эти строки.

— Двадцать два года тому назад... — сказал он, крепко пожимая руку старика. — И ты не боялся, папаша? Могли найти...

— Могли!.. Видали вы расклеенные по городу листовки? Их тоже могли найти жандармы — здесь, в пустых бочках...

Данила поддел штопором вторую пробку и ловко опрокинул бутылку над бокалом. Розовое вино искрилось в тонких излучинах граненого бокала...

## **Петр Прудковский**

*Прудковский Петр Николаевич (1900-1988). Поэт, прозаик. Публикуется со второй половины 1920-х годов. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР с 1935 года.*

## **МОСТ**

С Павлом Кустовым я познакомился в первый же день приезда в Таволжанский район.

Случилось это так.

В жаркий июльский полдень почтовый поезд высадил меня на маленькой, затерявшейся в степи станции. Истомившись за шесть часов езды в душном и пыльном вагоне, я прежде всего заглянул в буфет, чтобы выпить стакан холодного морса, а в это время ушел грузовик, выезжавший из города за пассажирами. Пришлось идти пешком. Я обмотал носовым платком ручку своего чемодана, свернул поудобнее дождевик, закурил и не спеша отправился в путь.

Не прошло и десяти минут, как меня догнал на шоссе молодой человек лет двадцати пяти, в полинявшей гимнастерке с широко расстегнутым воротом. Был он высокого роста, шагал легко и размашисто, и уж, конечно, без труда мог бы обогнать любого пешехода. Но вместо этого он замедлил шаги и пошел рядом, украдкой разглядывая меня. Было видно, что парню очень хочется завязать разговор с приезжим человеком, и я решил прийти ему на помощь.

— Скажите, до города, кажется, три километра? — спросил я.

— Да, всего три, — с живостью ответил он, повернув ко мне свое румяное, загорелое лицо. — А если напрямик, полем, то и того меньше. А вы почему не на машине? Разве не было мест?

Я объяснил, что прозевал грузовик, отправляющийся со станции.

— Да вы бы подождали... Сегодня воскресенье, базарный день, машина еще раза два обернется!

— Ждать скучно. Да и не так уж далеко идти...

— Это верно. Ну давайте, я помогу вам нести чемодан... Вам тяжело, — сказал парень.

Узнав, что приехал я на работу в райцентр, он тотчас же пообещал подыскать мне жилье.

— Правда, это нелегко, городок наш основательно разбит, ну да сообразим что-нибудь.

Мы подошли к реке. Но тут дорогу нам преградила глубокая канава, прорытая поперек шоссе.

— Надо спуститься, — сказал мой спутник. — Здесь не пройдешь.

Оказалось, что дорога обрывалась на краю почти отвесной кручи. Река текла вниз, и над водой я увидел остатки обгорелых свай, служивших когда-то основанием моста. Они стояли в два ряда, и между ними был проложен узкий дощатый переход на другой берег. Немного дальше, вниз по течению, виднелась переправа: земляная гать и низенькие дощатые мостки, едва подымавшиеся над уровнем воды.

Пока мы спускались тропинкою по склону дамбы, переходили по мосткам, а затем карабкались на противоположный берег, — словоохотливый паренек рассказал мне историю таволжанского моста.

Летом сорок второго года немцы сбросили вблизи городка воздушный десант и захватили переправу. По мосту хлынули на восток вражеские войска... Но подошла ночь — и багровое зарево полыхнуло над рекой: мост, подорванный в центральном устье, рухнул с пятнадцатиметровой высоты.

Немцы всполошились. Охрана была усилена. Немецкие саперы проработали двое суток без отдыха, поднимая осевшие в воду прогоны, — но едва работа была закончена, как мост снова взлетел на воздух... Была сделана еще одна попытка восстановить кое-как переправу, — и опять нашлись смельчаки, разрушившие ее: ночью мост был облит горючим, и огонь уничтожил без остатка и бревенчатые устои, и верхнее мостовое строение.

— Пойдите, — перебил я моего спутника, — это не про вас ли была недавно заметка в газете? Насчет моста... теперь я припоминаю...

— Точно, про нас! — с гордостью отвечал он. — Мы же обязательство дали — ко Дню Победы восстановить мост и отремонтировать шоссе. Два воскресника провели, по заготовке леса... весь город вышел! И окрестные колхозы тоже помогают... Вот, смотрите, — он указал на груды бревен у обочины дороги, — уже начали подвозить материал.

От свежерубленных стволов шел приятный смолистый запах. Двое рабочих, оседлав с двух сторон длинное бревно, счищали с него кору топорами. Завидев парня, один из них, маленький, бодрый старичок, с реденькой седой бородкой на кирпичном лице, поманил его рукой:

— А, Павлуша! Наше почтение! Закурить не найдется ли?

— Найдется, Василий Леонтьевич. Я сейчас...

Он поставил на землю мой чемодан и протянул старичку кисет с табаком. Тот долго и старательно крутил цыгарку и, кончив, передал кисет своему товарищу. А тем временем мой спутник деловито осматривал каждое бревно.

— С Еланьевского кордона? — осведомился он.

— Оттуда, — отвечал Василий Леонтьевич, чиркая спичкой.

— Для раскосов пройдут, а на распил — тонковаты... Вы как думаете?

— Натурально.

— А насчет дубков что слышно?

— Товарищ Степунин сам поехал, этот с пустыми руками не вернется. Будут дубки, верное дело!

— Степунин — это бухгалтер наш... в райземе, — пояснил мне парень и, заметив изумление на моем лице, добавил: — Он каждый выходной на кордоне... Напористый человек! Лесники перед ним по струнке ходят... Плохо только, что возить далеко. Да и тягла маловато; вот управимся с уборкой, тогда легче будет.

— А вы сами где работаете? На постройке моста? — спросил я.

— Да нет... я тоже в райземе — статистиком. У нас тут все — добровольцы, — улыбнулся он. — Ну, пошли. До свиданья, Василий Леонтьевич!

Павел сдержал свое слово и помог мне снять комнату в пригородной слободе, меньше пострадавшей во время оккупации. Новоселье мы справили вместе и после встречались часто. Павел оказался на редкость общительным человеком. Мне нравилась его кипучая энергия и горячность, с которой брался он за любое дело. Не удивительно, что он, как мне сообщили, был одним из первых инициаторов и энтузиастов восстановительных работ в районе.

Особенно волновала его почему-то судьба Таволжанского моста. Он с таким жаром говорил о всех перипетиях подготовительных работ, точно на нем одном лежала вся ответственность за ход строительства.

Обо всем, что касалось постройки моста, Павел мог рассказать не хуже любого техника или инженера. От него я впервые узнал, какая разница между простой подкосной и подкосноригельной системой мостовых сооружений, как надо наращивать сваи и почему продольный настил служит дольше поперечного...

Осенью начались строительные работы. В первый же воскресный день, рано утром, Павел зашел за мной, чтобы вместе идти на берег реки. Там уже собралась чуть ли не вся Таволжанка. Павел быстро пристроил меня к одной бригаде, занятой насыпкой дамбы, а сам направился к копру, установленному внизу, на песчаной отмели.

— А ну, а ну, давай!.. Взяли! — донесся оттуда его звонкий голос, и я увидел, как проворно взлетела вверх чугунная «баба», чтобы всей тяжестью своей обрушиться на окованную железными обручами сваю...

...В тот же вечер, сидя вдвоем за чаем, мы написали для районной газеты подробный отчет о воскреснике. А затем, подумав, решили послать корреспонденцию и в областную газету.

Павел все свободное время проводил на берегу реки. Он мастерски обтесывал и затачивал бревна маленьким саперным топориком; каждая вбитая свая вызывала в нем неподдельный восторг. Если требовалось помочь рабочим поднять бревно или передвинуть копер, Павел был тут как тут. Поплеывая на свои широкие ладони и крепко упираясь ногами в песок, он сразу, рывком, хватался за десятипудовую сваю и один ставил ее «на попа», вызывая одобрение окружающих.

Несколько раз мне пришлось быть свидетелем его горячих споров с прорабом, и, надо признать, что замечания товарища Кустова всегда были дельны и толковы. Василий Леонтьевич, бригадир плотников, присутствовавший при этих стычках, отечески подбадривал парня:

— Верно, Павлуха! Крой... так надо. Со стороны оно виднее.

В тот год весна нагрелась рано и дружно: солнце начало пригревать еще в первой половине марта. Дни стояли ясные, безоблачные. По улицам катились, бурля, мутные потоки талой воды. Слежавшись во дворах за зиму, сугробы снега быстро чернели и оседали. Воздух был наполнен гомоном грачиных стай.

Павел ходил рассеянный и озабоченный. Ранняя весна не радовала его. Однажды после работы он предложил мне пойти к реке, на стройку. Мы пошли. Достаточно было беглого взгляда на недостроенный мост, чтобы понять причину беспокойства моего друга.

Из трех устоев были закончены только два, причем средний, стоявший на самом глубоком месте русла, еще не был связан перекрытиями с берегом. Концы продольных балок, поддерживаемые подкосами первого устоя, тянулись к нему, как чьи-то руки, но просвет был еще очень велик: бревна надо было наращивать по крайней мере на половину их длины.

Несмотря на поздний час, на берегу возлиозла десятка два рабочих. Они оттащивали подальше от воды козлы пильщиков, доски, бревна и прочие строительные материалы. Лед местами уже ушел под воду, и ветер рябил темную поверхность разводий.

— Как это некстати, — бормотал Павел, сокрушенно качая головой. — Еще бы неделю... закончить настил...

— Вы думаете, что ледоход может повредить средний устой? — спросил я.

— Конечно! Вы же видите — он держится прямо-таки на честном слове. Стоит напереть льду — и все рухнет...

— А ледорезы на что? Они задержат лед.

Павел досадливо махнул рукой.

— Кабы так! Я боюсь, не пойдет ли вода верхом... Разлив в этом году будет большой, это по всему видать. Я говорил прорабу, что быки надо ставить на полметра выше, он не послушался, ссылался на показания старожилков... Надо было настоять... Подумать только, что все дело в каких-нибудь десяти бревнах!

Опасения Павла оказались более чем основательными... Уровень воды в реке подымался с каждым днем. Ниже моста река вышла из берегов и затопила всю пойму, до самого железнодорожного полотна. Работы на мосту прекратились. Вода все прибывала.

14 марта, незадолго до конца занятий, по всем комнатам Таволжанского райсовета раздался голоса:

— Лед идет!

Трудно было усидеть на месте. Ведь не одного Кустова беспокоила судьба моста. Когда я, еле переводя дух, прибежал на набережную, — там было уже черно от народа. Протолкавшись ближе, я тотчас же заметил Павла — он стоял у самого края обрыва и, не отрываясь, смотрел вдаль, туда, где за крутой излучиной реки чернели избы соседнего села Казанки.

За ночь вода поднялась не менее чем на полметра, и верхушки обоих ледорезов едва выступали над поверхностью реки. Быстрое течение образовывало бурлящие водовороты вокруг них: маленькие, хрупкие льдинки поминутно проносились мимо, весело кружась, и одна за другой исчезали между пролетами моста.

Я хотел было окликнуть Павла, но потом сообразил, что ему сейчас не до разговоров. Никогда еще не видел я такого осунувшегося и встревоженного лица. Возможно, парень не спал всю ночь.

— Лед, лед! — пронеслось вдруг в толпе. Льдины показались со стороны Казанки: это были всего-навсего белые пятнышки, быстродвигающиеся по течению, и в них, казалось, не было ничего страшного. Но когда, огибая излучину, крайние льдины стали цепляться за берег и ползти, громоздясь друг на друга, все поняли, что это идет тяжелый лед и что решающий момент наступил.

На минуту мелькнула надежда, что изгиб реки задержит массу льда или хотя бы ослабит ее удар. Но течение было слишком сильно, и лишь незначительная часть льдин застряла на берегу, у песчаной отмели.

\* \* \*

Первая льдина, которую принесло к мосту, наткнулась на окованный железом брус ледореза, поползла вверх по его ребру и вдруг, с хрустом, разломилась пополам от собственной тяжести... Обе половинки ее нырнули в воду, но тотчас же всплыли опять на поверхность и, кружась, понеслись в проток между устоями. Вторая льдина, вдвое больше первой, лишь коснулась бокового ската ледореза и, увлекаемая течением, ударилась со всего размаха в центральный устой. Раздался треск. Концы белых бревен дрогнули и пошатнулись...

Этого Павел выдержать не мог.

Быстро сбежал он к реке. Здесь, возле вытянутых на берег лодок, суеилось человек десять с баграми, и я услышал резкий голос Василия Леонтьевича, дававшего какие-то распоряжения. Почти тотчас же трое дюжих ребят перебрались по дощатому настилу на боковой устой и стали отталкивать баграми напирившие льдины.

Но что было делать с центральным устоем? Он оставался незащищенным. Его гладко отесанные бревна отвесно поднимались из воды, и у подножья их с трудом мог поместиться разве только один человек... На минуту среди собравшихся произошло замешательство — предприятие казалось слишком рискованным. И вот тут-то я увидел, как Павел схватил длинный шест, проворно столкнул одну из долбленок, прыгнул в нее и с силой оттолкнулся от берега.

Течением подхватило лодку и понесло прямо к устоям моста. Павел стоял, широко расставив ноги, измеряя глазами расстояние. Вот и ледорез... Быстро нагнувшись вперед, он уцепился за него багром, и челнок, обойдя ледорез кругом, ударился кормой о бревна центрального устоя. Этого только и надо было смелому парню.

Держа конец багра в одной руке, другой он обхватил крайнее бревно и выпрыгнул из челнока на едва заметный выступ боковых креплений.

Несколько больших льдин быстро приближалось к мосту. Еще минута — и они начали бы таранить устой... Но теперь это не была уже безжизненная связка бревен, покорно сносившая удары льдов; подле нее стоял человек: он как бы врос между бревнами, слился с ними, держа наготове тяжелый и длинный багор.

Как только льдины приближались к устою, Павел отталкивал их, и они пронеслись мимо. Рискуя потерять равновесие и полететь в воду, он нагибался то вправо, то влево, с ожесточением отбиваясь от напиривших льдин. Он слышал, ободряющие возгласы людей, столпившихся на берегу, и, поворачивая по временам в нашу сторону свое раскрасневшееся, разгоряченное лицо, широко улыбался, как бы говоря: «Ничего! Справимся!»

— Сменить бы парня... Изморится! — услышал я чей-то голос...

— Легко сказать — сменить... а добраться-то как? По воздуху, что ли?

И действительно, сплошная лавина льда, пронесившаяся мимо, затерла и перекинула бы любую лодку. Оставалось только одно — ждать конца ледохода.

Как ни мал был выступ ледореза, защищавшего средний устой, он все же сослужил свою службу, отклоняя течение, и льды били по устою не в лоб, а сбоку. Это облегчало работу человека. Не зная устали, Павел прогонял льдины в проход между центральным и боковым устоями. Пот градом катился со лба, он скинул ватный пиджак, хотел было приткнуть его куда-нибудь между бревнами, но не успел. Лыдина ударила у самых его ног, обдав устой холодными брызгами, ватник упал в воду, а Павел снова схватился за багор.

Сколько часов продолжался этот неравный бой? Трудно сказать. Люди на берегу забыли о времени, никто не уходил; треск и гул ломающихся льдин стоял в воздухе.

Но вот плотная пелена облаков, все время застилавшая небо, разорвалась; глубокие просветы обозначились на западе; багровый диск солнца повис над горизонтом. Холодным красным отблеском зарделась река. Вода стала мало-помалу очищаться ото льда. Одинокие разрозненные льдины торопливо и как бы с опаской спешили проскользнуть между устоями моста.

От берега отвалил баркас. Среди гребцов я заметил Василия Леонтьевича (я узнал его по заодно вздернутой седенькой бородке). Он торопливо правил к центральному устою и еще издали стал кричать что-то Павлу, радостно размахивая руками...

В бараке, у ярко пылавшей печурки, я помог Павлу снять промокшую одежду; Василий Леонтьевич принес тулуп и укутал им парня. Рабочие, толпившиеся вокруг, наперебой предлагали — кто водки, кто горячего чаю.

— Молодец, Павлуха! — в восхищении говорил бригадир. — Кабы не ты — плавал бы теперь наш мосток! И откуда у тебя силы взялись?

— А как же иначе? — смущенно улыбнулся Павел. — Ведь это же я подрывал его тогда, в сорок втором... своими руками...

Он замолчал, челюсти его свело зевотой. Натянув на голову тулуп, он прилег на нары и закрыл глаза.

1949

## Виктор Петров

*Петров Виктор Иванович (1902–1976). Прозаик, драматург. Участник гражданской войны. Печатается с начала 1930-х годов. Ответственный секретарь Воронежского отделения Союза советских писателей (1939–1941).*

### В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

«Дорогой Петр, я уезжаю с Алексеем. Я не виновата, что так получилось, но ты был и останешься моим лучшим другом». Маша несколько раз перечитала эти строки, вздохнула и встала из-за стола.

— Конечно, — прошептала она, открывая окно, — Петр мой лучший друг... Мне его очень жалко...

Маша не преуменьшала своих чувств к Петру. Она выросла с ним в одном селе, на одной улице, помнила его с восьми лет: вихрастый был, сероглазый и такой задира...

Петр и Маша вместе начали ходить в школу, ссорились, дрались и все-таки дружили. Помнится, однажды поспорили, кто из них скорее вырастет, а потом каждую весну отмечали рост у дверного косяка. Петр в год подрастал на Машину ладонь, а она — только на два Петяшкиных пальца. В десятом классе Петр был тонкий, длинношей, в шапке рыжих кудрей, и Маша прозвала его «подсолнухом». Петр в отместку звал свою подругу «глазастой», потому что глаза у нее были большие и темные-темные.

Окончив среднюю школу, друзья вместе поступили в медицинский институт. И вот здесь-то словно кто расправил плечи Петру. Через два года он стал широким, статным, а острокюлое лицо его посуровело. От прежнего Петра если что и осталось, так это его рыжие кудри да серые глаза, в которых иногда вспыхивали искорки озорства и задора.

Маша тоже изменилась, стала спокойнее, рассудительнее.

Петр и Маша почти всегда были неразлучны. В обширном институтском лектории они сидели рядом, зачеты готовили вдвоем, на практику ездили вместе и вместе мечтали о будущем.

Прошлым летом это будущее определилось само собой.

На каникулы они приехали в родную Донщинку. Просторное село на высоком донском берегу утопало в садах, палисадниках и густых тополевых левадах.

Летние дни были знойными, вечера — тихими, ласковыми. А за лесом полыхали такие закаты, что облака, дремавшие над рекой, казались глыбами раскаленного металла.

В один из таких вечеров друзья стояли над крутояром Дона. Отгорала заря, в небе появлялись первые звезды...

— Вот так и жизнь, — сказал Петр. — И, подумав, продолжал: — День прошел — началась ночь. Ночь пройдет — день наступит. Конец дает начало новому... — Он рассмеялся. — мудро получается!

Маша обрывала кленовую веточку, сломанную еще в палисаднике, и, бросая листья в воду, наблюдала, как они медленно уплывали по реке. Ей хотелось сказать Петру какое-то большое слово, но найти его она не могла.

— А что, Маша, — присаживаясь на валун, весело сказал Петр, — будущей весной учебу-то закончим и разъедемся. Скучно нам будет.

— Да, скучно... — согласилась Маша и задумчиво поглядела на Петра.

Он сидел на камне и, улыбаясь, смотрел за реку, на лес... Она подошла к нему, стала рядом, положила руку на его плечо и едва слышно произнесла:

— А если нам не разведаться, Петр?..

— То есть? — И он повернулся к ней. Смущенно потерев концы косынки, она сказала:

— Вместе бы нам и уехать. Вместе. Навсегда. На всю жизнь...

— Постой, постой! — Петр быстро поднялся. Угловатый и хмурый, стоял он против Маши. — Как же так?.. Ведь для того, чтобы вместе, навсегда, для этого нужно любить. А я и неуклюжий, и рыжий... — Он встряхнул головой, рассмеялся. — Нет, это тебе случайно взбрело, ты никогда об этом не думала.

— А ты? — И у Маши задрожал голос. — Ты тоже не думал? — Петр взял тонкую руку подружки и, как бы согревая ее в своих больших ладонях, тихо заговорил:

— Нет, Машутка, я думал. Я много думал. Но мне всегда казалось, что так быть не может. Я несколько раз собирался сказать, что ты — родной и самый близкий мне человек... Давно я... — Петр низко опустил голову. — Давно я люблю тебя, Маша, очень давно...

\* \* \*

Через час они шли в село, и им еще никогда не было так радостно. За этот час они поговорили о многом и решили будущим летом, окончив институт, приехать в Донцинку и здесь, в родном селе, работать и быть всю жизнь вместе. Всю жизнь. Как это хорошо!..

И вот оно, это лето. Институт окончен, а у Маши на столе письмо к Петру.

Да, завтра она уезжает с Алексеем... Как это произошло, Маша не может объяснить.

К государственным экзаменам она готовилась уже одна. И в бесконечно длинном коридоре института ее ждал не Петр, а Алексей, студент-однокурсник.

Всегда задумчивое, чуть-чуть грустное лицо Алексея, высокий бледный лоб и густые светло-каштановые волосы невольно привлекали внимание. Девушки тайком друг от друга вздыхали, глядя на Алексея Бажанова. Про него говорили, что он скромный, необыкновенно талантливый человек. Бажанов своим поведением подтверждал эти качества: был спокоен, рассудителен, прекрасно учился...

Накануне зимней сессии профком и директор института командировали Машу и Алексея в подшефную колхозную больницу, где сразу выбыло из строя два врача.

На вокзале, прощаясь с Петром, Маша обещала писать ему чуть ли не каждый день. Но так и не выбрала времени. Алексей как-то незаметно занял в сердце Маши то место, которое принадлежало Петру.

В самом начале Маша растерялась и не знала, что делать. Она боялась Бажанова, но в то же время чувствовала, что какая-то неодолимая сила влечет ее к нему. Пыталась сопротивляться, упрекала себя в легкомыслии, старалась думать о Петре, а думала только об Алексее. Он с каждым днем становился все внимательнее к ней, все ласковее и проще, чем был в институте. Там он все время держался на отшибе, говорил спокойно и сухо. Здесь же был словоохотлив, часто шутил, много смеялся.



Однажды вечером он долго и интересно говорил о любви как о великом инстинкте. Смеялся над чудачеством некоторых философов, считающих, что любовь не чувство, а общественная категория. Говорил он страстно, красиво. Маша смотрела на Алексея и восхищалась про себя: «Какой же умница!»

И вдруг он встал и вышел из комнаты.

«Смешной, даже учебник забыл». — Она решила сейчас же отнести ему книгу.

Но не успела накинуть на плечи платок, как Алексей вернулся. Минуту стоял в дверях, глядя на Машу каким-то растерянным взглядом, а потом шагнул и заговорил глухим, изменившимся голосом:

— Маруся. Я не могу больше. Не могу. Я люблю тебя.

У Маши потемнело в глазах. Она совсем не знала, что сказать Алексею, а он уже обнимал ее и полусшепотом, торопливо, сбивчиво говорил: — Я знаю. Ты тоже любишь. Ведь любишь? Зачем же мы скрываем друг от друга такое огромное чувство? Зачем?

— Не знаю, не знаю... — шептала Маша.

\* \* \*

Оставшиеся до отъезда дни прошли словно во сне. Да, Маша любила Алексея, и ей еще никогда не было так легко и весело. Всегда нежный и предупредительный, он лишь раз, да и то должно быть случайно, обидел Машу.

Накануне отъезда, укладывая чемодан, он обнаружил исчезновение записок. Алексей долго и настойчиво искал их в своей и Машинной комнатах, искал и почему-то злился.

Маше было жаль Алексея. Она подошла к нему, обняла и ласково сказала:

— Алеша, зачем же волноваться из-за каких-то пустяков? Хочешь, я куплю тебе записки, самые лучшие куплю? Хочешь?

— Глупости говоришь, — сухо сказал он. — Не надо мне лучших...

Резким движением он стряхнул ее руки со своих плеч, повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Маша до вечера сидела одна. Ей было грустно.

— Ну, пропали записки, — думала она. — Неужели это так важно для жизни?

Но записки нашлись. Алексей стал по-прежнему ласковым, и неприятность была забыта.

— Окончим институт, — весело говорил он, — поедem с тобой, Маруся, куда-нибудь на окраину нашей необъятной страны. Я с удовольствием бы поврачевал, например, в Таджикской республике. Хорошо бы и в Киргизию поехать. Как ты думаешь?

Маша была согласна ехать с Алексеем хоть на край света. Ослепленная счастьем, она ни о чем не хотела думать, а если и думала, так только о том, как они будут жить где-нибудь в селе, работать в одной больнице. А где — в Таджикистане или в Киргизии — не все ли равно...

\* \* \*

Когда Маша вернулась из командировки, Петр, радостный и взволнованный, встретил ее на вокзале.

Слегка покраснев, Маша холодно протянула ему руку.

— Что с тобой, Машутка? — удивился Петр. Она посмотрела куда-то мимо него и торопливо проговорила:

— Ты не обижайся, Петя. Только я не могу и не хочу скрывать. Пожалуйста, не думай обо мне плохо. У меня есть другой парень. Понимаешь, другой...

Сказав это, она быстро пошла к выходу и затерялась в толпе.

Петр остолбенел. Он глядел в ту сторону, где скрылась Маша, и не мог поверить, чтобы Машутка, его родная Машутка, могла сказать ему такое... Да не приснилось ли все это Петру? Нет, он проснулся в шесть утра, в семь был на вокзале, долго ждал поезда, замерз. Вот поезд, вон вагон, из которого она вышла. Нет, Маша была здесь. Он еще ощущает в своей ладони теплоту ее руки. Нет, это не сон...

Ссутулившись, он побрел в город. День был морозный и солнечный. Выпавший за ночь снег сухо похрустывал под ногами. Петр шел медленно, зябко поеживаясь, и ничего не замечал. В душе у него было пусто. Будто в дреме он прошел несколько улиц и оказался на той, где квартировала Маша. Здесь он опомнился и быстро зашагал прочь, почему-то оглядываясь.

Не раздеваясь, Петр до самого вечера просидел в институтском вестибюле. «Кто же этот другой парень? Бажанов?» И хотя Петр был уверен, что Бажанов, все же думал: «Он это или не он?» Когда стемнело и швейцар включил огромную хрустальную люстру, Петр поднялся и, резко хлопнув дверью, вышел.

Через полчаса он был на Машиной квартире. Встретила его хозяйка дома.

— Вы к Маше? А она только что ушла.

— Ушла? — глухо переспросил Петр.

— Да вы проходите, проходите, — хозяйка распахнула дверь. — Присаживайтесь и ждите, она скоро придет.

— Да, я подожду...

Время шло медленно. Петр истомился, устал. В его жизни не было такого тягостного дня. Когда стрелки будильника, стоявшего на столе, соединились на двенадцати, он понял, что ждать нечего и что если Маша придет, то говорить с ней будет не о чем.

И Петр ушел.

Он провел беспокойную ночь и встал со светлой надеждой встретить Машу в институте. Но на лекции Маша сидела рядом с Алексеем и ни разу не глянула в сторону Петра.

Да и зачем Маше глядеть куда-то и на кого-то, если рядом с ней сидит Алексей, в котором сосредоточилось все: и прекрасное сегодня, и замечательное завтра. Маша забыла обо всем и обо всех, надолго, навсегда...

\* \* \*

Прошло два месяца. Петр похудел, глаза его запали и потемнели. А Маша цвела. Ходила гордо вскинув голову, и на ее лице постоянно сияла радостная улыбка. За два месяца она ни разу не вспомнила о Петре. И лишь сегодня, в последний день перед отъездом на работу в Киргизию, Петр встал перед ней, как воспоминание детства, которое ушло безвозвратно. Ей стало грустно, и она решила написать ему. Но писать-то оказалось нечего. Открыв окно в садик, Маша глядела на яблоню, осыпанную завязью, и ей хотелось плакать.

По саду плыли шорохи, казалось, кто-то большой и неуклюжий пробирается между деревьями. И хотя Маша знала, что это ветер, но ей очень хотелось, чтобы вон там, около яблони, вдруг появился Петр. Но через минуту Маша уже мечтала о том, как она поедет с Алексеем по обширным равнинам Киргизии. Вон где-то далеко-далеко синеют горы, а у их подножия — больница, в которой они вместе будут работать.

Веселая и довольная всем, она собралась, пошла в институт получить диплом и путевку.

\* \* \*

В дверях канцелярии Маша повстречалась с Петром.

— Маша!.. — радостно воскликнул он и, словно между ними ничего не произошло, взял ее за руку. — Здравствуй, Маша. Как давно мы с тобой не видались!

Она попыталась высвободить руку, но Петр жимал ее все крепче, пристально глядя в ее лицо. От этого взгляда Маше стало неловко.

— Что ты на меня так смотришь?

— Ты за документами? — спросил он в свою очередь и, опустив глаза, почти шепотом сказал: — Ты подожди немного, — кивнул на дверь канцелярии. — Давай отойдем на секунду.

— Куда отойдем, зачем? — недоумевала Маша.

В эту минуту дверь канцелярии распахнулась и в коридор выбежал Бажанов. Маша сделала движение в его сторону, но он круто отвернулся и устремился вниз по лестнице. Маша испуганно посмотрела ему вслед, а затем на Петра.

— Что с Алексеем?

— Не знаю, — смущенно и неуверенно сказал Петр. Он достал папиросу, топорливо зачиркал спичкой о коробку.

Но Маша видела, что Петр знает.

— Ты не хочешь сказать мне? — У Маши задрожал голос. — Скажи. Я прошу. Мне нужно знать. Что случилось?

— Да. — Петр вздохнул. — Нужно знать. Но я боюсь, что ты мне не поверишь.

— Почему? — воскликнула Маша.

— Хотя бы потому, что я могу сказать о Бажанове только плохое. А ты любишь его. — Он сбил пепел с папиросы и усмехнулся. — Ты, кажется, с ним собиралась ехать!

— Да, с ним, только с ним, — повторяла она и смотрела, смотрела на Петра.

— Так вот, — словно поворачивая что-то тяжелое, заговорил Петр. — Не выходит так, Маша. Бажанов никуда не собирается ехать. Он остается здесь, в городе.

— В городе? Зачем?

— Не знаю, — развел руками Петр. — Я передаю тебе то, что мне стало известно. Бажанов заявил, что он никуда не уедет. А когда директор сказал, что он обязан поехать на работу в село хотя бы потому, что Советское государство пять лет тратило деньги, давая ему образование, Алексей заявил: «Я советский гражданин, и государство обязано тратить на меня деньги».

— Нет, нет... Как же так? Как же так?.. — бормотала Маша. — И вдруг схватила Петра за лацкан пиджака. — Это неправда, Петр. Ты выдумал это. — У нее дрожали руки, губы...

— Тогда зайди в канцелярию, — сказал он резко и зашагал по коридору.

Маша догнала его, схватила за рукав.

— Петр, прости меня. — Она водила дрожащими пальцами по бледным щекам и умоляюще глядела на него. — Прости. Я плохо думала о тебе. И я прошу тебя...

— Чего же тут просить, Маша? Тут уж ничего не выпросишь, — тоскливо сказал он, опуская голову.

— Проводи меня к Алексею, — сквозь слезы произнесла она.

\* \* \*

Алексей жил на частной квартире, далеко от городского центра, около элеватора. У кирпичного флигелька с резным козырьком над парадным входом Петр остановился и тихо сказал:

— Ну, иди...

— А ты? — спросила Маша.

— Зачем же мне?.. — пожал плечами Петр и начал закуривать.

— Хорошо, — как-то неопределенно произнесла Маша. — Хорошо... Только ты подожди меня... Я скоро... — И она толкнула дверь.

Петр отошел к соседнему домику и сел на скамейку около покосившегося за-

борчика. Сделал, как яркие лучи солнца скользя по крутой бетонной стене элеватора, дробились в небольших слуховых окнах на крыше, и думал о Маше. «Алексей обманул ее, — в этом Петр был уверен. — Но вот как поступит Маша, что она ему скажет?.. Тут надо очень решительно. — Он сжал кулак и сразу же разжал его. — Порвать и уйти с легким сердцем. Хватит ли у Маши сил? — Петр крикнул, снова сжал кулак и с досадой подумал: — Расплатится, пожалуй...»

А Маша была уже в доме и стучала в двухстворчатую дверь комнаты Алексея. — Войдите! — услышала она женский голос...

На диване, подобрав под себя ноги, сидела хорошенькая голубоглазая женщина в ярком пестром халате. Светлые волосы ее буйно вились и крупными локонами падали на плечи. На коленях у нее лежала раскрытая книга.

— Здравствуйте, — неественно громко сказала Маша.

— Здравствуйте, — удивленно вскинула тонкие брови женщина. — Вы к мужу?

У Маши похолодело и тяжело заколотилось сердце. Но она улыбнулась и весело спросила:

— Так Алексей — ваш муж?

— Да, — ответила женщина и, захлопнув книгу, встала.

— Очень приятно. — Маша быстро окинула взглядом комнату. Здесь все было не так, как две недели тому назад. Откуда-то появились трюмо в раме из красного дерева, вышитая розовая ширма, кресла в белых чехлах и, словно пена, тюлевые шторы на окнах. «Так вот почему Алексей просил не приходите больше к нему на квартиру», — подумала Маша, а вслух опять произнесла: — Очень приятно. — Она даже улыбнулась, хотя у нее и темнело в глазах. — Давно вы поженитесь?

— Нет, где же давно! — засмеялась женщина. — Всего третий день. — И, приводя в порядок свои чудесные волосы, тихо засмеялась. — Мы собирались осенью зарегистрироваться. Но, знаете, как бывает. Его вдруг решили отправить в Киргизию. Тогда мой папа... Вы его знаете? Илья Ильич, профессор, хирург. Знаете? Ну, вот. Папа говорит: «Женитесь, больше оснований будет мотивировать ходатайство, чтобы остаться в городе». Тем более, что папа от Алексея в восторге и будет хлопотать, чтобы его оставили у него на кафедре.

— Так, так... — тихо проговорила Маша и, открыв сумочку, начала копаться в ней. — Так, так...

— А вы к нему по какому делу? — спросила женщина и пригласила Машу сесть.

— Нет, нег... Сидеть я не буду. Меня ждут там, на улице, — говорила Маша, а сама мучительно думала: «Что ей сказать?» И вдруг само собой у нее вырвалось:

— Я мимоходом зашла. Видите ли, я тоже еду в Киргизию и хотела выяснить, когда он уезжает, но теперь...

— Да, теперь он не поедет. Нет никакого смысла.

— Я вижу. — Маша повернулась и стремительно толкнула дверь.

Петр докуривал вторую папиросу, когда Маша появилась на улице.

— Ну, что? — тихо и ласково спросил он, беря ее под руку.

— Пойдем скорее отсюда...

На повороте в переулок она расплакалась.

— Как мне обидно, Петя, как стыдно и больно...

— Ничего, до свадьбы все заживет, — сказал Петр, и это вышло у него хорошо и просто, так, как в далеком детстве или прошлым летом в Донцинке. Сквозь слезы Маша увидела родное село, сады, левады, крутояр над синим Доном, лиловою в вечерней дымке лес... Но как все это недоступно далеко отодвинулось от нее. «Все, все, — думала она, — даже Петр».

— Что ж, поеду в Киргизию одна, — тихо, словно во сне, проговорила Маша.

Петр долго молчал, а потом, швырнув окурок в придорожный кювет, сказал:

— Да, поезжай, Машутка.